

ИСТОРИЯ ТЕКСТА «САТИР В ПРОЗЕ»

Публикация Б. Эйхенбаума

I

«Сатиры в прозе» Салтыкова-Щедрина — не цикл в настоящем смысле этого слова (как напримр «Помпадуры и помпадурши»), а сборник. После «Губернских очерков», вышедших в 1857 г. в трех томах, Салтыков собирался сначала написать еще один том и таким образом завершить «крутогорский» цикл, но потом оставил это намерение и задумал новый цикл под названием «Книга об умирающих». Отдельные очерки этого нового цикла начали появляться в «Русском Вестнике» 1858 г. В примечании Салтыков пояснял: «Под названием «Книги об умирающих» автор предполагал написать целый ряд рассказов, сцен, переписок и т. д., в которых действуют люди, ставшие вследствие известных причин в разлад с общим строем воззрений и убеждений». Здесь должны были заново появиться некоторые знакомые по «Губернским очеркам» персонажи, и весь цикл являлся своего рода продолжением предыдущего.

Но к концу 1859 г. этот замысел тоже отпал и заменился другим. Этот момент — поворотный в творчестве Салтыкова. Он прерывает инерцию провинциальных обличительных очерков, захватывающих в конце концов довольно узкий и мелкий круг фактов, и переходит к сатирическому фельетону более широкого и острого содержания. Здесь идет речь уже не об отдельных злоупотреблениях или произволе местных властей, а о всей системе управления, о либеральной болтовне, об интеллигенции и пр. С 1860 г. Салтыков переходит в «Современник» и печатает там ряд этих «сатир». Одна из них — «К читателю» — имела в журнале подзаголовок: «Прозаическая сатира». Из этого подзаголовка родилось очевидно и название сборника — «Сатиры в прозе».

Первое отдельное издание этого сборника вышло в 1863 г. Здесь было собрано 8 «сатир», но среди них были вещи, написанные и напечатанные еще в период работы над «Книгой об умирающих». Так, «Госпожа Падейкова» появилась еще в «Русской Беседе» 1859 г. (т. IV) как один из очерков этого цикла, а сцена «Недовольные» — в «Московском Вестнике» 1859 г. (№ 46) под характерным для задуманного цикла заглавием: «Погребенные заживо». Остальные вещи, помещенные в этом сборнике, связаны между собой одним общим признаком: все они описывают город Глупов. Этот Глупов явился на смену прежнему Крутогорску. Достаточно сопоставить эти два названия, чтобы понять новый путь Салтыкова — от обличительного провинциального очерка к социальной сатире, к обобщающему политическую и социальную «злобу дня» гротеску. Глупов «Сатир в прозе» — это уже не только и не столько Тверь, сколько вся Россия вместе с Петербургом. Об этом очень ясно говорит сам Салтыков в автографе очерка «Наши глуповские дела». Вот вычеркнутое им начало.

«Давно ли, кажется, беседовал я с вами, читатель, о нашем уездном Глупове, как уже сегодня сердце мое переполнилось жаждою повести речь о другом Глупове, Глупове губернском.

Он также лежит на реке Большой Глуповице, кормилице-поилице всех наших Глуповых: уездных, губернских и прочих (каких же «прочих»? спросит слишком придиричивый читатель. — Разумеется, заштатных и безуездных, отвечаю я, ибо столичных Глуповых не бывает, а бывают столичные Умновы. Это ясно как день.), он также

имеет свою главную улицу, по сторонам которой тянутся каменные дома одноэтажной, полуказарменной постройки; он также пересекается во многих местах оврагами, по склонам которых в изобилии разводится капуста и прочий овощ, услаждающий неприхотливый вкус обывателей. Словом, Глухов как Глухов, только губернский».

Основные «сатиры» сборника обнаруживают замысел особого «глуховского» цикла, не осуществившегося главным образом из-за цензурных препятствий. Запрещение трех самых важных в конструкции этого цикла вещей («Глуховское распутство», «Каплуны» и «Глухов и глуховцы») разрушило весь тематический план. Это и побудило вероятно Салтыкова собрать все напечатанное им в журналах после «Губенских очерков» и более или менее механически разбить этот материал на два сборника: «Сатиры в прозе» и «Невинные рассказы». От «глуховского» цикла в первом сборнике остались только: «К читателю», «Литераторы-обыватели», «Клевета», «Наши глуховские дела» и «Наш губернский день» (совершенно исковерканный цензурой). Остальные сатиры («Госпожа Падейкова», «Недавние комедии» и «Скрежет зубовный») связаны с до-глуховским циклом. В сборнике эти вещи размещены по некоторому определенному плану. На первом месте поставлено «К читателю» — как публицистическая статья на общие темы. Затем идут вещи до-глуховского периода: «Госпожа Падейкова», «Недавние комедии» и «Скрежет зубовный»; после них — остатки «глуховского» цикла: «Наш губернский день», «Литераторы-обыватели», «Клевета» и «Наши глуховские дела». Итак, после вступительной статьи помещены сначала сатиры, относящиеся к недавнему дореформенному прошлому, — сатиры, так сказать, исторического характера, а затем — сатиры злободневные, описывающие нравы и дела пореформенного Глухова.

II

Известно, что у Салтыкова нет почти ни одного произведения, которое явилось бы в печати без цензурных искажений и купюр. При повторных печатаниях Салтыков очень редко пользовался правом и возможностью восстановить свой первоначальный текст. Постоянно заваленный срочной работой, он очевидно не имел ни времени, ни охоты возвращаться к своим старым вещам и производить текстологические операции по сравнению печатного текста с рукописным или корректурным. Тем самым право и обязанность производить эти операции выпадают на долю современного редактора.

К сожалению далеко не все рукописи Салтыкова сохранились, а из сохранившихся не все дают возможность осуществить восстановление текста, потому что часто представляют собой черновые, слишком далекие от окончательной редакции. Работа по восстановлению текста осуществима конечно только в том случае, если в руках редактора имеется рукопись (или корректура), содержащая в себе последнюю редакцию вещи или по крайней мере ближайшую к ней. Идеальным было бы, если бы мы имели экземпляры тех самых рукописей или корректур, на которых делались цензурные пометки и вычерки. Но этих экземпляров нет, как и нет вообще почти никаких салтыковских корректур. Рукописи тоже сохранились далеко не все — и меньше всего сохранилось именно наборных рукописей, наиболее необходимых для восстановления подлинного текста.

Но «Сатирам в прозе» посчастливилось больше, чем многим другим книгам Салтыкова. Все вещи, входящие в этот сборник, сохранились в рукописях (правда, не всегда беловых), а наиболее из них искаженная цензурой, «Наш губернский день», сохранилась сверх того в журнальных гранках, содержащих в себе до-цензурный текст. Таким образом именно в этом сборнике редактор может осуществить максимальное восстановление салтыковского текста: вставить купюры, снять слой цензурных вставок, заменить слова, поставленные по требованиям цензуры, словами Салтыкова и т. д.

Надо при этом иметь в виду, что цензура эта была в сущности тройная: авторская (когда автор, предвидя сам цензурное запрещение, заменяет одно другим или просто вычеркивает), редакционная и официальная. Редактору приходится учитывать все эти

три вида цензуры, при чем самым сложным из них (в принципиально-методологическом смысле) является конечно первый. Здесь редактору приходится учитывать самые разнообразные условия и моменты — вплоть до графических особенностей.

Приведу один характерный пример такого рода авторской цензуры. В рассказе «Для детского возраста» (сборник «Невинные рассказы») дважды упоминается некий батальонный командир, который играет в ералаш: «Играл в ералаш председатель казенной палаты с губернским прокурором против советника казенной палаты и батальонного командира». В построении этого квартета заметна некоторая соотносительная симметрия: председателю казенной палаты дан в противники советник той же палаты. Симметрия нарушается тем, что противником губернского прокурора оказывается не имеющий с ним никаких служебных и профессиональных отношений батальонный командир. Внимание редактора, достаточно знакомого с текстами Салтыкова, настораживается, потому что губернскому прокурору должен конечно соответствовать жандармский полковник — тот самый жандармский полковник, которого Салтыкову никак не удалось протащить ни в одном рассказе (см. например «Наш губернский день», где всюду слово «полковник», даже без прибавления «жандармский», пришлось заменить всякими другими).

Редактор смотрит в сохранившийся автограф, где находит следующее: в цитированной фразе перед словами «батальонный командир» вычеркнуто начатое слово — «жан». Ниже «батальонный командир» упоминается еще раз. «—У вас трэф нет? — строго спросил батальонный командир». В автографе опять вычерк, предшествующий написанию последних двух слов: «жандармский по». Совершенно ясно: Салтыков имел в виду жандармского полковника, а «батальонный командир» явился его цензурным заместителем. Редактор имеет полное основание (учитывая аналогичные случаи в других произведениях) воспользоваться вычерком и дать наконец Салтыкову сказать то, что он хотел, но не мог. Второй вычерк, самое появление которого свидетельствует о некоторой, так сказать, цензурной рассеянности Салтыкова, очень убедительно поворачивает в пользу такой «конъектуры».

Цензура коверкала текст Салтыкова преимущественно по двум направлениям: по линии политической и по линии «нравственности». Кроме жандармского полковника запретным для Салтыкова персонажем был например священник. В рассказе «Деревенская тишь» («Невинные рассказы») пришлось батюшку заменить всюду «батюшкиным братом» — один из анекдотов тогдашнего цензурного изобретательства. Как это часто бывает, цензор однако не заметил, что помещик говорит этому «батюшкину брату»: «Только ты у меня смотри: ни всенощных, ни молебнов... ни-ни!» Оказывается, что этот «батюшкин брат», придуманный цензором для того, чтобы избавить «батюшку» от конфуза, занимается той же деятельностью, что и сам «батюшка». Псевдоним раскрывается — и редактору остается (несмотря на отсутствие рукописей) заменить его подлинным наименованием.

«Нравственная» цензура упорно вытравила в произведениях Салтыкова все крепкие слова и эпизоды, тем самым уничтожая в них струю «раблезианства». Письма Салтыкова с достаточной ясностью показывают, насколько эта струя была органична и сильна в стилистической системе Салтыкова. Редактору нужно иметь постоянно в виду эту тенденцию тогдашней цензуры и, в случаях возможности, восстанавливать текст Салтыкова и по этой линии.

Перехожу к «Сатирам в прозе», на истории текста которых многое вышесказанное подтвердится разнообразными примерами.

III

«К читателю» было написано в конце 1861 г., когда замысел «глуповского цикла» уже вполне оформился в представлении Салтыкова. Сатира эта появилась в «Современнике» (1862, № 2) позже, чем «Литераторы-обыватели», «Клевета» и «Наши глуповские дела», но в сборнике заняла естественно принадлежащее ей место вступления. Здесь Салтыков разоблачает «глуповский» либерализм, характеризующий собой эпоху пореформенного «конфуза». Тема была настолько острая, что цензура конечно обра-

тила на этот очерк сугубое внимание. По письму Салтыкова к Некрасову (от 25 декабря 1861 г. из Твери) видно, что первоначальный текст, набранный в «Современнике», пришлось сильно переделать: «Посылаю вам, уважаемый Николай Алексеевич, в 3-х пакетах, корректуру «К читателю», с сделанными как в самой корректуре, так и на особых местах изменениями. Надеюсь, что цензор пропустит, если же и затем не пропустит, то лучше совсем не печатать, потому что выйдет бессмыслица»¹.

Цензор очевидно пропустил, но ни цензорская корректура, ни даже рукопись последней редакции не сохранились, а сохранившиеся черновые автографы содержат неполный текст очерка. Тем самым восстановление текста оказывается невозможным, а возможен только некий паллиатив в виде вариантов, дополняющих печатный текст. В числе этих вариантов должны вероятно оказаться и те места, которые были изменены или вычеркнуты в корректуре по требованию цензуры.

Так например, среди рассуждений о конфузе Салтыков обращается с возгласом к Удар-Ерыгину: «И ты, дитя моего сердца! ты, любострастный магик и чревоушатель Удар-Ерыгин!» В этом абзаце есть фраза: «Я, который вижу насквозь твою душу, я знаю, что ты задумался о том, как бы примирить инстинкты чревоугодничества с требованиями конфуза». После этого в автографе следует целая сцена, удаленная, по всей вероятности, цензурой. Вот она:

«Не далее как вчера принцесса твоего сердца доказала тебе осязательно, как это трудно, как это даже невозможно.

— Анна Ивановна! — говорил ты ей, внезапно превратившись из фокусника в сентиментального петушка, торопливо [разгребаящего] царапающего ножками землю около [невинной] кокетливой хохлатки: — Анна Ивановна! пожалуйста ручку-с!

И глазенки твои искрились и бегали: на углах рта показывалась влажность.

— Нет вам руки! — сурово отвечала Анна Ивановна.

— За что же-с?

Вся утроба твоя как-то безобразно при этом хихикнула.

— Увольте Флюгерова! — решительно возражала Анна Ивановна.

— За что же-с?

— За то, что земля кругла!

— Помилосердитесь, Анна Ивановна, ведь нынче времена совсем не такие!

— Хорош же ты после этого магик!

— Анна Ивановна! перемените гнев на милость-с! простите Флюгерова, а мне пожалуйста ручку-с!

— Нет вам руки: удалите Флюгерова!

— Анна Ивановна! года четыре тому назад голову бы ему оторвал-с...

— Отчего ж не теперь?

— Теперь нельзя-с...

— Хорош же вы чревоушатель!

— Анна Ивановна! пожалуйста ручку-с!

— Нет вам руки: удалите Флюгерова!

И ты уходишь от Анны Ивановны натошак, понурив голову и не получивши ляльки. Я желал бы сказать, что ты повесил нос, но не могу, потому что носа у тебя собственно нет, а есть какая-то наклейка, которую даже повесить нельзя.

Ниже в том же очерке есть два абзаца, в которых Салтыков говорит о том, что на литературной ниве действуют теперь Ноздревы, Чертопановы и Пеночкины, и, обращаясь к Ноздреву, спрашивает: «почему ты смотришь таким Лафайетом?» Вместо этих двух абзацев («Заглянем, например» и «Каждый час») в автографе другой текст, обнаруживающий, что под Ноздревым Салтыков разумел идеолога дворянской партии, крепостника-либерала, видного чиновника и орловского помещика В. П. Ржевского, автора статьи «Несколько слов о дворянстве»², в которой он ополчался на провинциальную бюрократию. Автограф проясняет смысл печатного текста:

«Пересмотрите наши журналы, нашу текущую литературу — что за маскарад представляется глазам! Возьмите, например, в расчет одного г. Ржевского — чем не либерал? По свободе не то что тоскует, а просто, так сказать, стонет:

Стонет сизый голубчик,
Стонет он и день и ночь...

а об бюрократии отзывается с либерализмом даже [ругательным] загадочным: просто, говорит, бюрократ — да и дело с концом. Ноздревы, Пеночкины и Чертопановы только ахают да руками разводят: «ах, говорят, вот-то отца родного нашли!» Даже Рудин и Лаврецкий — и те как-то застыдились, внимая музыке речей. И никому не приходит на мысль, что г. Ржевский потому только притворился Лафайетом, что на дворе у нас стоит масленица, а об масленице как-то неловко человеку оставаться самим собою, что его свобода есть собственно свобода чистить сапоги и получать за это двугривенные, а «бюрократ» его собственно не бюрократ, а что-то другое, об чем он не осмеливается доложить публике, потому что [бюрократия, пожалуй, еще обидится], по неопытности, еще сам достоверно не знает, что такое это «другое». Расскажи он свою мысль без утайки, объясни он все, чего желают его внутренности, — сам Ноздрев бы потупился, сам Ноздрев бы оторопел».

Во второй половине сатиры есть большое рассуждение о том, что надо действовать и проводить мысль в жизнь. В автографе это рассуждение гораздо полнее и подробнее. Возможно, что Салтыков сократил его в связи с тем, что задумал отдельный очерк «Каплуны», весь написанный на тему о том, что «следует из тесных рамок сектаторства выйти на почву практической деятельности» (как он писал в письме к А. Н. Пышину 6 апреля 1871 г.). Но в «Каплунах» рассуждение это далеко не так полно и подробно, как в автографе «К читателю». Здесь Салтыков обращается к интеллигенции («ласковое, добродушное теля»), стараясь доказать, что мысль, заключенная в кабинете, есть мысль бесплодная, что злобу дня обойти невозможно, что надо уметь победить равнодушие толпы, и т. д. В таком полном виде рассуждение это представляет собой нечто вроде авторской исповеди, в которой Салтыков мотивирует собственное поведение³.

IV

«Госпожа Падейкова» была впервые напечатана еще до отмены крепостного права в славянофильской «Русской Беседе» 1859 г. (т. IV, кн. 16) как очерк из «Книги об умирающих». В автографе этого очерка имеются (что-то чужие (редакционные?) отметки синим и красным карандашом повидимому цензурного характера. Так например, в начале очерка (абзац «Госпожа Падейкова женщина лет сорока пяти») говорится о проницательном взоре Падейковой: «до того проницательный, что, наверно, ни одна дворовая девка не укроет от него своей беременности». В автографе последние два слова вычеркнуты синим карандашом, а сверху чужой рукой написано: «своих грешков». В журнале вместо «своей беременности» явились слова «своей провинности», но в первом издании сборника (1863) г.) восстановлено первоначальное.

Таких отмеченных мест в автографе несколько, но особенно любопытен финал. В автографе — Прасковья Павловна едет по делам в город и на обратном пути чувствует, что внутри у ней что-то мутит. «Однако, так как уж ее целый месяц только и делало что мutilo, то она и не обратила особенного внимания на это обстоятельство. Приехавши, она отдохнула и даже «спросила» подать ей малосольной севрюжки, до которой была большая охотница, но тут случилось одно обстоятельство, которое вновь сильно ее расстроило. Акулина доложила ей, что любимая ее девочка, Надёжка, которую, несмотря на ее осьмнадцать лет все в доме (кроме, однако ж, повара Семки) считали еще девчонкой, по всем приметам оказалась с прибылью. Прасковья Павловна, которая была на нравственность чорт, вышла-было в девичью, чтоб распорядиться, но вдруг вспомнила, что Надёжка такая же барыня, как и она, и что ничего другого ей не оставалось, как проглотить эту пилюлю. Тем не менее должно полагать, что пилюля засела далеко, потому что едва успела Прасковья Павловна скушать за ужином последний кусок, как почувствовала, что та самая севрюжка, которая только что была съедена, начала подступать ей прямо к сердцу.

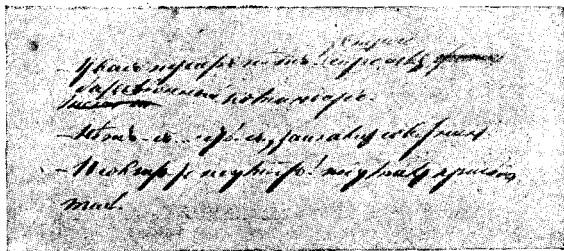
— Ай, севрюжка! ай, батюшки, севрюжка! — вскрикнула она не своим голосом.

Прибежала Акулина, прибежали и прочие «барыни», как она называла, в последнее время, своих дворовых девок; начали тереть ей ладони, дуть в глаза, но все их усилия остались тщетными.

Прасковья Павловна лежит без жизни. Не вынесла русская барыня севрюжки!»

Весь этот первоначальный финал отмечен в автографе красным карандашом и вместо него написан тут же другой, который и появился в печати. Очень вероятно, что первый финал показался редакции журнала (которая, как и Прасковья Павловна, «была на нравственность чорт») неудобным для печати; однако новый финал, как это часто бывает, представляет собой не только замену, но и полную художественную переработку. Тем самым первоначальный финал приходится считать «вариантом», хотя и связанным с цензурным запрещением.

Автографы «Недавних комедий» не дают особенно интересного текстологического материала. Отмечу только, что «Соглашение» — это та самая пьеса, которую, под заглавием «Съезд», Салтыков предлагал в 1859 г. в «Библиотеку для чтения»: пьеса не была тогда пропущена цензурой, а в 1862 г. появилась в журнале «Время» под новым заглавием⁴. Сцена «Недовольные» была напечатана в «Московском Вестнике»



ПРИМЕР АВТОРСКОЙ ЦЕНЗУРЫ ПЕДРИНА

Автограф черновой рукописи рассказа «Для детского возраста»; выражение «жандармский полковник» вычеркнуто и заменено словами «батальонный ко-мандир»

Институт Русской Литературы, Ленинград

(1859 г., № 46) под заглавием «Погребенные заживо», а в автографе носит заглавие «Современные разговоры. I. Оставшиеся за штатом».

«Скрежет зубовой» — вещь переходная, намечающая путь от обличительных очерков к сатирическому фельетону, от «Книги об умирающих» к «глуповскому» циклу. Сатира эта появилась в «Современнике» (1860 г., № 2). Салтыков послал ее П. В. Анненкову 29 декабря 1859 г. (из Рязани) при письме, в котором просил передать ее в «Современник», но прибавляя, что не желает никаких перемен «кроме самомаleastших»: «в случае же если цензура не согласится, без выпусков, одобрить статьи к печатанию, то возвратить ее ко мне, а я отдам в один из московских журналов... Я по опыту знаю, каково печататься в «Современнике», где редакция не дает себе труда даже связывать пробелы, оставленные цензорским скальпелем»⁵. 16 января 1860 г. Салтыков писал ему же: «Относительно «Скрежета» позвольте мне одну просьбу. Может быть, цензура затруднится пропустить его, имея в виду «Сон», который в сущности и заключает в себе всю мысль этой статьи. В таком случае можно было бы сон выпустить, но таким образом, чтобы читатель догадывался, что есть нечто. А именно, я полагал бы заключить статью так:

СОН

и больше ничего. Это единственная уступка, которую я могу сделать, а иначе статья утратит весь свой запах».

ОТ РЕДАКЦИИ

В силу стечения обстоятельств в первом томе сборника о Щедрина («Литературное Наследство» № 11—12) помещена открывающая сборник статья «От редакции», не выражающая подлинных взглядов редакции на Щедрина и являющаяся ошибочной по существу.

В. И. Ленин писал в августе 1912 г. в редакцию тогдашней «Правды»: «Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в «Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии... Получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом» (Ленин, т. XXIX, стр. 75). Выражения выбраны Владимиром Ильичем в расчете на то, что письмо может быть прочитано царской цензурой. «Старой народнической демократии» означало: революционной демократии. «Рабочей демократии» означало: большевизма.

Это указание Ленина, конечно, не случайно. В систему ленинских взглядов на литературную политику партии это указание входит одним из важных звеньев.

Теперь наступила пора, когда мы можем уже не только время от времени вспоминать и цитировать Щедрина в наших газетах, но можем дать действительно полное собрание его сочинений, можем напечатать множество оставшихся ненапечатанными его вещей, можем восстановить его подлинные тексты, искаленные в свое время царской цензурой. Теперь мы по настоящему несем в массы Щедрина. Теперь мы можем по настоящему поставить изучение Щедрина и наладить научное исследование его работ. Теперь мы можем и должны по настоящему «растолковывать» массам подлинное значение такого писателя, как Щедрин.

К сожалению, автор статьи «От редакции» в «Литературном Наследстве» № 11—12 «растолковывает» значение Щедрина совсем не по-ленински. И это заставляет нас здесь полемизировать со статьей, помещенной в предыдущей книжке нашего же журнала.

Ленин писал о Щедринах:

«Особенно нестерпимо бывает видеть, когда субъекты вроде Щепетова, Струве, Гредескула, Изгоева и прочей кадетской братии хватаются за фалды Некрасова, Щедрина и т. п. Некрасов колебался, будучи лично слабым, между Чернышевским и либералами, но все симпатии его были на стороне Чернышевского. Некрасов по той же личной слабости грешил нотками либерального уродничества, но сам же горько оплакивал свои «грехи» и публично каялся в них...

«Неверный звук» — вот как называл сам Некрасов свои либерально-угоднические грехи. А Щедрин беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеил их формулой: «применительно к подлости». Как устарела эта формула в применении к Щепетовым, Гредескулам и прочим веховцам. Дело теперь совсем не в том, чтобы эти господа применялись к подлости. Куда тут! Они сами по своему почину, на свой лад, исходя из неокантианства и других модных «европейских» теорий, построили свою теорию «подлости» (Ленин, т. XVI, стр. 132—133).

Ленину нестерпимо было видеть, как субъекты вроде Струве, Щепетова, Изгоева и К.° «хватаются за фалды» Щедрина, который «беспощадно издевался над либералами и навсегда заклеил их формулой: применительно к подлости». Ленин усматривает в этом приеме кадетов еще один вид либеральной подлости. Кажется, это вполне ясно. А вот автор статьи «От редакции» став на неверную точку зрения в оценке Щедрина неизбежно впадает в ряд ошибок. Он «открыл», что у Щедрина была «некоторая неуловимость» — «та самая неуловимость, которая позволяла (!) представителям самых различных классов (!) и групп (!) хвататься за фалды Щедрина и приобщать его к лику «своих». Исходя из неверной оценки Щедрина, автор, сам того, конечно, не желая, нечаянно помог либералам, о которых говорит вышеприведенная цитата из Ленина.

Автор статьи «От редакции» критикует тех, кто изображает Щедрина, как «какого-то Илью-Муромца русской революционной демократии». Он пытается высмеивать тех, кто будто бы считает, что в определенный период «посреди этого сборища оппортунистов, трусов и ренегатов стоит одинокая фигура революционного Щедрина». Автор открывает поход против «идеализации портрета писателя».

Все это совершенно не вяжется с тем, что писал о данных сюжетах Ленин.

Автору хочется доказать, что воззрения Щедрина «были достаточно далеки от революции», что Щедрин пытался «создать широкий блок всех партий «прогресса» от уме-

ренных либералов до социалистов включительно», что Щедрин выдвинул «утопический проект организации» при чем «согласно этому проекту действительно действующие революционеры не мыслят, мыслящие же не действуют» и т. п. Автор упрекает Щедрина в том, что «он ушел из демократической литературы на службу в бюрократический аппарат абсолютизма» и т. п. Словом, автор статьи хочет отнести Щедрина к лагерю половинчатых буржуазных демократов, если не хуже.

Совершенно ясно, что такая «оценка» Щедрина не может быть оставлена без отпора. Автор статьи в № 11—12 «Литературного Наследства» не понял, почему Н. Г. Чернышевский так высоко оценивал литературную деятельность Щедрина и почему, в частности, о «Губернских очерках» Чернышевский сказал: «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением — эта книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни». Автор не понял, почему один из первых русских марксистов, Н. Е. Федосеев (которого так ценил Ленин), в своей большой научной работе, посвященной марксистскому исследованию крестьянского вопроса в России, крупную часть книги построил на «Пошехонской старине» и «Господах Головлевых». Автор не понял, почему Ленин рекомендовал до-революционной «Правде» «вспоминать, цитировать и растолковывать Щедрина». Автор не понял, почему многие из щедринских формулировок стали обиходными в политическом словаре большевизма, почему и Ленин, и Сталин так часто пользуются образами Щедрина, почему цитировал Щедрина в своем докладе на XVII съезде ВКП(б) тов. Каганович.

Автор статьи «От редакции» доказывает, что Щедрин «никогда не поднялся до материалистического понимания истории», что Щедрин «не поднимается до понимания человеческой истории, как истории борьбы классов», что еще неизвестно «стоял ли он за экспроприацию всех помещичьих земель». Все это было бы только наивно, если-бы всей своей «трактовкой» Щедрина автор статьи «От редакции» на деле не играл на руку либеральным извращениям роли Щедрина.

Конечно, Щедрин не был марксистом. Можно было бы пойти дальше и сделать еще одно «открытие»: что Щедрин не входил даже в Группу Освобождения Труда... Эта аксиома в подробных доказательствах поистине не нуждается. Но она еще очень мало дает для действительно марксистского освещения роли и значения Щедрина.

Щедрин не был действующим революционером. Что правда — то правда. Щедрин был только писателем (и редактором).

Щедрин был «только» писателем, но писателем великим. Главное из того, что им написано, относится к лучшим произведениям русской литературы революционно-демократического лагеря.

Его сочинения сыграли огромную революционизирующую роль. Своими меткими чудесными снарядами он обстреливал не только твердыни царского самодержавия, но и позиции буржуазно-помещичьего либерализма.

Большевиков в Щедрине больше всего привлекало и привлекает 1) то, что Щедрин уже в очень раннюю эпоху сумел так прекрасно изобразить дифференциацию русской деревни, сумел таким могучим прожектором осветить фигуру кулака, «миroeда», «чумазога», такой яркой кистью написать Колупаевых, Разуваевых, Деруновых; 2) то, что Щедрин с такой непримиримостью относился к подлости либеральной буржуазии, что он хорошей законченной ненавистью ненавидел умеренного и аккуратного «прогрессиста» и заклеил либералов, по выражению Ленина, «навсегда»; 3) то, что Щедрин ненавидел царское самодержавие, «дикого помещика», царскую бюрократию, «помпадур», «Угрюм-Бурчеева», «ташкентца», весь «аппарат» царско-помещичьей диктатуры — ненавидел глубоко, прочно, беззаветно — и что Щедрин сумел в тятчайшей обстановке изо дня в день наносить удары царизму своим особым «щедринским» видом оружия: своей могучей сатирой, своим художественным словом.

Вот почему все великое в наследии Щедрина принадлежит рабочему классу, принадлежит нам и только нам.

В обеих сборниках, посвященных «Литературным Наследством» Салтыкову-Щедрину, помещено много статей и заметок отчасти дискуссионного характера. Только теперь удастся опубликовать ряд важнейших работ Щедрина, которые до сих пор были неизвестны. Самое детальное и всестороннее изучение Щедрина необходимо. Но чем полнее собраны будут все сочинения Щедрина — его неопубликованные статьи, письма, отрывки, варианты, наброски, тексты, искаженные цензурой — чем тщательнее исследуем и изучим мы все богатое литературное наследие Салтыкова-Щедрина, тем яснее станут: оценки, которые давал этому великому русскому писателю Ленин — единственно верны.

«Сон» цензура пропустила, но кое-какие купюры и замены в этой вещи пришлось все-таки сделать. Сохранившиеся автографы, очень близкие к печатному тексту, дают возможность сделать ряд вставок и восстановлений. Так например, в конце, перед «Сном», отсутствует три абзаца, предшествующие абзацу «Вот закоренелый казнокрад». Можно сказать с уверенностью, что это — цензурная купюра:

«Вот деревенский лорд, застигнутый с розгой в руках. Уподобясь пойманному врасплох школьнику, он бросает в толпу поличное и заверяет Смерть древней своей честью, что он патриарх и желает только счастья, и счастья, и счастья сестрой меньшей братии.

Вот испитой, пожелтевший, с подобранным животом ябедник. Он трусливыми руками засовывает в карман свой донос или извещение и отвратительно-жалобным голосом вопиет, что он оклеветан, что он совсем не ябедник, а масон, бескорыстно истощавший из себя ябеду и клевету, по долгу данного им обязательства.

Вот наивный, оплешивевший на службе столоначальник, пойманный с входящим регистром в руках. Он божится, клянется, что это лишь горькая случайность, что он в жизнь свою туда ничего никогда не вписывал и делал там только кляксы.

«Скрежет зубовой» должен был повидимому замыкать собой «Книгу об умирающих». Об этом свидетельствует особенно заключительная часть (после черты) — описание бессонной ночи («Но мне не спится») и появление Смерти. Любопытно, что на одном листе автографа вычеркнуто следующее, написанное прежде, начало:

«СМЕРТЬ. Pallida mors» с двумя эпитафиями: «Все еще ночь, все ночь. Мне не спится».

Обе эти фразы вышли в текст «Скрежета зубового», но первоначально открывали собой очевидно задуманную отдельную вещь.

V

Следуют «сатиры» погибшего по цензурным причинам «глуповского» цикла.

На первом месте — «Наш губернский день». Печатная история этой вещи очень своеобразна. Она впервые появилась в журнале «Время» (1862 г., № 9) и состояла из «Введения», трех глав (I — «У пустытника», II — «Обед», III — «На бале») и «Заключения». В автографе глава «На бале» стоит четвертой, а перед ней есть глава «Перед вечером», отсутствующая как в журнале, так и во всех последующих изданиях «Сатир в прозе». Однако глава эта как отдельный очерк под заглавием «После обеда в гостях» появилась в «Современнике» (1863 г., № 3) и была затем включена в сборник «Невинные рассказы».

Это расщепление одного рассказа на два было сделано очевидно по цензурным причинам. В этом убеждает нас не только самое содержание, но и документы. Помимо автографа сохранились журнальные гранки рассказа, представляющие собой запрещенный цензурой текст. Пометок никаких нет, но сверху карандашом написано: «Ст[атс] секр[етарь] Головин». Рассказ называется «Четыре момента дня». В нем — те самые 4 главы, которые есть и в автографе. Эта корректура, поддерживая автограф, дает возможность восстановить подлинный текст рассказа: не только вернуть на место третью главу, но и ликвидировать многочисленные искажения и купюры.

В «Введении» например отсутствует любопытный кусок, в котором описывается смущение «губернского штаб-офицера» — того самого «жандармского по», который в другом рассказе превратился в «батальонного командира»: «Губернский штаб-офицер пронохал, будто отныне всякое дело на чистоту надо вести будет. Легкая бледность внезапно отуманивает его красивое чело; надушенные усы дрогнули; в самых манерах, которых благородству удивлялись, во время экзекуций, все помещики, появилась порывистость и даже некоторое верноподданническое дерзновение (я, мол, свое дело сделал, а там как угодно!). «Ну что ж, это хорошо! Ну что ж, и пускай их! и пускай их!» скрипит он про себя, «только что ж это со мной-то они делают? Да пойми же ты, чорт, как же я теперь в люди-то покажусь?»

В том же «Введении» выпущен еще такой кусок: «И добро бы дело о нужном шло!

А то ведь об том только и разговор, как сечь: с соблюдением ли законных форм, или без соблюдения, как бог на душу пошлет... ох, уж эти мне либералы!»

В первой главе («У пустынного») цензура старательно вытравивала все указания на духовное звание «пустынного», который поэтом выглядит для невнимательного читателя простым помещиком. После абзаца «Что за будущее» вышлущен следующий кусок:

«— Ну, я с своими-то, пожалуй справлюсь, — заговорил между тем пустынный: — вот вы-то, гражданские, что будете делать? ведь у вас, государи мои, все в рознь полезло!

На это замечание я не мог возражать, ибо в отношении прозорливости оно было поразительно.

— Веселихому и играхому! — продолжал пустынный: — а теперь вот и нам, подобно древним Иудеям, на реках Вавилонских сидящим, приходится обесить органы своя... и 'шабаш!»

В следующих главах «глуповский штаб-офицер» или «глуповский полковник» был заменен такими словами, как «добрый и милый приятель», а вместо «ночных розысков» появились «нечаянейшие сюрпризы».

Остальные «сатиры» пострадали от цензуры гораздо меньше. Их автографы дают возможность восстановить искажения отдельных фраз и слов. Особый интерес представляет автограф сатиры «Наши глуповские дела». При изучении его обнаруживается, что сцена «Погоня за счастьем» входила первоначально в состав этой сатиры и что кроме того она соединяет в себе частично две вещи, существовавшие сначала отдельно: «Хорошие люди» и «Предчувствия, гадания, помыслы и заботы современного человека» (дневник Ржаницева)⁶.

Текст «Хороших людей», как оказывается, почти весь разошелся по разным вещам «глуповского» цикла. Отсюда взяты две страницы в конце «Литераторов-обывателей» (от слов «Прежняя привольная жизнь провинции исчезла», кончая словами: «Веселое было времячко! — Веселое!»), целый ряд отдельных кусков, большое рассуждение о нынешнем «хорошем» человеке в «Наших глуповских делах» и наконец отдельные места в очерке «К читателю». Таким образом начатый в виде отдельного произведения очерк «Хорошие люди» очевидно предшествовал всем этим сатирам и писался вероятно непосредственно после «Скрежета зубовного». Под «хорошими людьми» Салтыков разумеет либералов, занявшихся «глуповским возрождением».

* *

Сборник «Сатиры в прозе» выходил при жизни Салтыкова трижды: в 1863, 1881 и 1883 гг. В первом издании кое-какие искажения, сделанные журнальной цензурой, были исправлены, в следующих же изданиях производилась только мелкая стилистическая переработка. Попавший «глуповский» цикл возродился через несколько лет в произведении, превратившем город Глупов в символ всей царской России, — в «Истории одного города».

Б. Эйхенбаум

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Неизданные письма». «Academia», М.—Л., 1932, стр. 19.

² «Наше время» 1861 г., № 11. Ср. «Ответ г. Ржевскому» Салтыкова, напечатанный в «Современной летописи» 1861, № 26 (июнь).

³ См. полный текст этого рассуждения ниже, после статьи. (Точками обозначен пропуск части, совпадающей с печатным текстом.)

⁴ См. в книге Р. Иванова-Разумника «М. Е. Салтыков-Щедрин», М., 1930, стр. 187.

⁵ «Письма» (Литр., 1925), стр. 18. Намек очевидно на «Развеселое житье», напечатанное в «Современнике» 1859 г., № 2 в совершенно изуродованном виде.

⁶ Последняя вещь была опубликована в «Звезде» 1926 г., № 2 и вошла в книжечку, изданную «Огоньком»: «Несобранные произведения» (М., 1930). Первая, сохранившаяся в отрывках, публикуется в главной своей части здесь.

[РУКОПИСНЫЙ ВАРИАНТ ОЧЕРКА «К ЧИТАТЕЛЮ.»] *

В самом деле шутка сказать человеку: доведи мысль свою до того напряженного состояния, до той страстности, которая разрешается героизмом! [Где взять решимости, где взять силы для этого?] Где подготовка для этого? С каким материалом, с какими силами приступить к совершенному подвигу? да и какое наконец будет содержание этой мысли?

Побеседуем прежде всего о подготовке и средствах. Ласковое, добродушное теля! Выступая [так радостно и] с таким легким сердцем на борьбу, знаешь ли ты, что такое борьба? знаешь ли ты, что борьба есть страдание столько же нравственное, сколько и физическое, что если первое жестоко, то второе жестоко тем более, что противно самой природе человека, что борьба есть ряд унижений и обид, что борьба есть голод и жажда, что борьба есть первая и ближайшая посылка к смерти? Ты, который обрекаешь себя на служение истине, знаешь ли ты, что истина, как древле Ваал, любит мясные жертвы? Утучнил ли ты свое тело в такой степени, чтобы жертва эта была приятна?

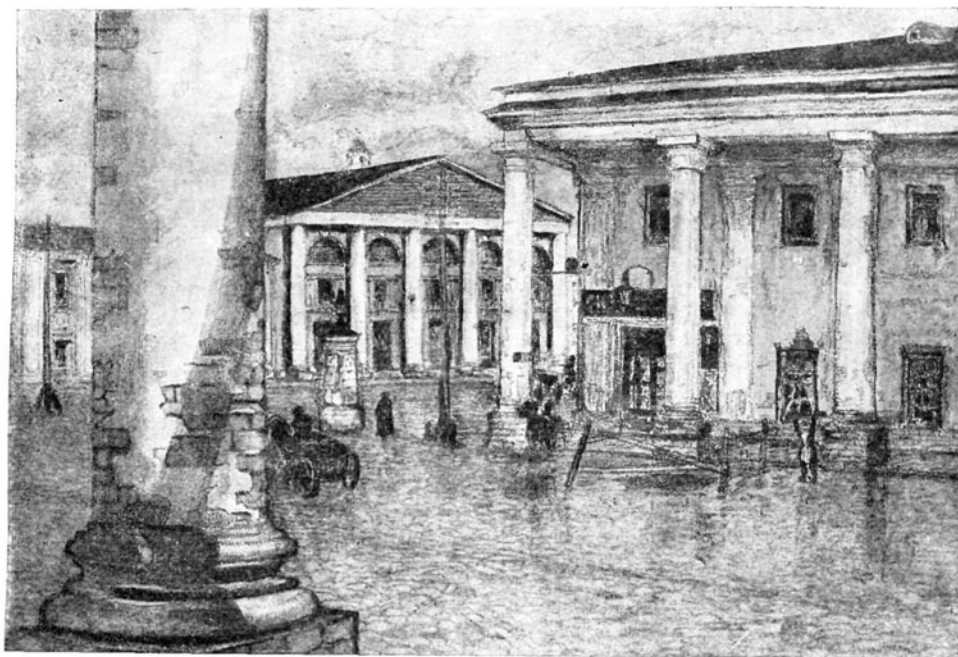
[Предполагаю]. Допускаю, что, предаваясь умственному труду, в [тиши] уединении своего кабинета, ты не [мечтаешь только] ограничиваешься одними призрачными, [неясными] туманными мечтами, ты не с одним сочувствием, не с одною восторженностью [обращаешься] относишься к делу освобождения человека от уз [смерти] пленения смертного, не стремишься наудачу к неясно очерченному будущему, но мыслишь действительно, но зрело обдумываешь и даже рассчитываешь весь ход, все развитие великого дела будущего, к которому так спокойно и так настойчиво стремится человечество от первого дня своего рождения. Допускаю, что ты относишься к делу даже практически, т. е. предусматриваешь [и угадываешь] [и определяешь себе] те условия, при которых оно может иметь успех, и те, при которых оно должно погибнуть, что ты [угадываешь] [придумываешь] с математическою верностью определил даже средства, чтобы обеспечить беспрепятственное [влияние] действие первых и устранить последние. Допускаю, наконец, что до чуткого уха твоего доходят и не бесплодно доходят те многообразные стоны, которые с такой мучительной [силой] покорностью судьбе вырываются из груди природы-матери, [что чуткое ухо передает эти стоны чуткому сердцу, а сердце кипит злобою, а сердце млеет и умирает от гнева и омерзения. Волнение, непередаваемое языком человеческим, овладевает всем существом твоим; ты видишь раны и струпья, ты слышишь [стоны] вздохи и сетования... ужас! ужас! восклицаешь ты, и нет пределов твоему отчаянию...

Что ж из этого?

Пришел ли ты к убеждению, что мысль, доколе она заключена в кабинете твоём, есть лишь бесплодная и притом растленная потеха души твоей? Пришел ли ты к убеждению, что место мысли героической, мысли воинствующей не в усидчивой работе за фоллиантами, не в беседе приятельской, даже не в более или менее смелых, более или менее верных поисках в области будущего, что ей, этой мысли, точно так же необходим хлеб насущный, как твоему желудку?

Допускаю однако ж, что и эти убеждения не составляют для тебя новости, но они пришли к тебе точно так же теоретически, как и твоя Икарія, но они явились к тебе мельком, в виде страшного ультиматума, с которым не может освоиться, который желала бы отклонить мысль твоя. В самом деле, ты готов на все: ты готов защищать свою мысль шаг за шагом, ты готов принять диалектический бой со всяким противником, но

* Архив М. М. Стасюлевича (ИРЛИ). Здесь публикуются те части автографов, которые остались неиспользованными в «Сатирах в прозе» (см. выше в статье).



СТАРАЯ РЯЗАНЬ
В 1859 г. Салтыков служил в Рязани вице-губернатором
Акварель Г. Лукомского
Собрание художника, Париж

злоба дня, та страшная злоба дня, которая не хочет слушать ни убеждений, ни доказательств твоих, которая хохочет и кривляется над ними, которая спокойно продолжает злодействовать, покуда ты изливаешь восторженные потоки красноречия, эта злоба дня застает тебя безоружным.

Злоба дня застает тебя безоружным, потому что ты не только презирал ее, но просто-таки не считал ее ни во что. И ты был прав, презирая, потому что [она действительно заслуживает], говоря абсолютно, взирая на мир с точки зрения беспримесной чистоты твоей мысли, она действительно ничего, кроме презрения, не заслуживает. Но эта презренная злоба дня нынешнего была истиною дня вчерашнего, но она еще вчера была источником жизни для бесчисленного множества тебе подобных существ, но у нее есть корни и очень крепкие корни в прошедшем... обойти ее трудно, обойти ее невозможно.

Волею или неволею, но ты должен сойти до нее, ты должен [познать] исследовать ее, и даже принять к сердцу ее интересы. Ибо что должно, что может составлять предмет твоей деятельности? Или открытая борьба с злобою дня, или нравственно-воспитательное на нее действие. И в том и в другом случае ты должен знать слабые и сильные стороны своего противника, и в том и в другом случае ты обязан с осторожностью и даже с нежностью держать в своих руках гадину, которую намереваешься убить. Но ты остановишь меня на этом и будешь уличать в противоречии [самому себе]. Давно ли, скажешь ты, было вызываемо к опрятности мысли, давно ли говорилось об исключительности, и вот на сцену снова выступает осторожность и даже какая-то нежность?

Но противоречия этого нет. Действительно, не дальше как две страницы тому назад я утверждал, что исключительность необходима, что примирения и компромиссы не ведут ни к чему, кроме запутанности и постыдного

поражения, но тогда я обращался к тебе, как к человеку обуждения, человеку теории. Теперь же я обращаюсь к тебе, как к человеку действия, и в этой двойственности твоего характера заключается полное объяснение замеченного тобой противоречия. Пусть внутренний мир твой остается цельным и недоступным ни для каких стачек, пусть сердце твое ревниво хранит и воспитывает те семена ненависти, которые брошены в него безобразиям жизни — все это фонд, в котором твоя деятельность должна почерпнуть для себя содержание и повод к неутомимости. Но оболочка этой деятельности, но формы ее должны слагаться независимо от этого внутреннего мира души твоей. Над ними тяготеют [условия] требования победоносной еще злобы дня, и требованиям этим она волею или неволею должна подчиниться, под опасением остаться бесплодной [и замкнутой в четырех стенах твоего кабинета]. Ты истец; ты тревожишь спокойное течение жизни, ты ищешь, чтоб она поступилась в твою пользу частью или всем своим историческим достоянием; следовательно, не она, а ты обязан подать и первый пример соблюдения необходимых в этом случае формальностей.

Да притом я не говорю тебе ни о нежности [душевной] сердечной, ни о сострадательности, ни о других добродетелях этой категории: под нежностью я разумею просто нежность мускулов, нежность механическую, которая заслоняла бы от слишком любопытных взоров духовную исключительность, составляющую содержание твоего внутреннего человека, которая позволяла бы держимой между пальцами козявке держаться там смиренно, без мучительных судорог и содроганий. Не говорю также и о снисходительности или [нравственной] приблизительной покладистости, ибо то, что с первого взгляда кажется снисходительностью, есть собственно любознательность, необходимая каждому, изучающему предмет с целью дальнейших операций.

Одним словом, я желал бы, чтоб ты сделался на время Удар-Ерыгиным, чтоб при каждом иудинном лобзании, даваемом тобою злобе дня, ты в то же время вырывал один из ее вредоносных удов, чтоб ты действовал по точному разуму русской пословицы, гласящей: не плачь, козявка! дай только сок выжму!

Фу! какая, однако ж, мерзость! восклицаешь ты: — ведь Удар-Ерыгина за это зовут шельмой, ведь Удар-Ерыгин действует так, потому что им руководят только низшие инстинкты: лукавство, низкопоклонничество, чревоугодие, наконец!

Ну да, и я совершенно с тобой согласен насчет Удар-Ерыгина [стоит только взглянуть на плоскодонную его голову, стоит только попристальнее взглядеться в блуждающий огонь его глаз, чтоб определить человека]; ну да, и я согласен, что ты не только на определенное время, но даже на минуту не в состоянии сделаться Удар-Ерыгиным... Помыслы твои слишком чисты, ты сам слишком опрятен для этого... но какие же последствия этой брезгливости? не те ли, что мысль твоя безвыходно должна будет уединяться в стенах твоего кабинета, что она никогда не придет в живое соприкосновение с злобою дня, которую, однако ж, имеет претензию поработить!

Именно потому-то я и утверждаю, что ты не в силах окрилить свою мысль до того, чтоб она не боялась окунуться в грязь базара житейской суеты, чтобы она при вопросе о средствах имела в виду только цель, которой надлежит достигнуть.

Но зато как же и бесцеремонно обращается с тобой злоба дня! Она высылает на тебя Зубатова, который, замечая в твоей физиономии нечто угрюмое, не подходящее к детской беззаботности, требуемой правилами патриархального этикета, сварливо подступает к самому твоему лицу и тоном, нетерпящим отговорок, требует, чтобы ты говорил «хи-хи»! Она высылает на тебя Удар-Ерыгина, который в свою очередь, видя, что ты

принял на себя образ жалкой отошавшей [кошки] дворняжки, [лукаво] робко пробирающейся сторонкой, чтоб стащить со стола кусок мяса, хладнокровно ошпаривает тебя горячими помоями. Она высылает на тебя, наконец, своего панегириста, преемника Булгарина, преемника Каиафы, который, чуткий к рутинным инстинктам и бессознательным ненавистям толпы, выбрасывает ей на поругание одну за другой [мысли] задушевные помыслы твои, не давая даже себе труда опровергать их, потому что ему стоит только обнажить их, чтоб указать на их несообразность с требованиями той исконной мудрости, которою привыкла руководиться толпа. И толпа рукоплещет, толпа надывается [мучительным] плотоядно-зверским смехом, видя, как тебя ошпаривают, как тебя заставляют говорить «хи-хи!», как тебя обличают в посягательстве на удобства и наслаждения толпы! И не то, чтоб толпа была кровожадна, но она любит пряные зрелища. Толпе так горько, так трудно жить, что самая мысль о мире лучшем кажется ей дикостью и посягательством; она так освоилась с безвыходностью своего положения, до такой степени утратила всякое сознание об идеале, что человек, поставленный в положение зверя, не режет ей глаза, не кажется вопиющей ненормальностью. Она рассуждает так: можно мыслить, развиваться и совершенствоваться, когда дух свободен, по крайней мере, от самых гнетущих материальных забот и лишений, когда брюхо сыто, когда тело защищено от неблагоприятных влияний атмосферы и т. п., но нельзя мыслить, развиваться и совершенствоваться, когда вся мыслительная способность человека сосредоточена на том, чтоб как-нибудь не лопнуть с голоду и будущее сулит только чищение сапогов да ношение подносов («смотри же, подлец! не урони подноса: морда отвечать будет!» кричит господин, имеющий возможность развиваться и совершенствоваться). И рассуждая так, она не глядит ни вверх ни по сторонам, а глядит все в землю, то-есть туда, куда наклонили ее целые [века] столетия [рабства] гнета, наслоившиеся над нею. Естественно, что при таком озверении всех инстинктов, она не умеет различить своего адвоката от паскудника, что чувство ее может быть возбуждено и отчасти принять игривое направление только при виде чьего бы то ни было уничтожения, чьей бы то ни было беззащитности. Естественно, что она трепещет и плещет руками при виде торжества грубой силы над разумом: она рукоплещет тут не торжеству собственно, а издевается лишь над неразумием разума, осмелившимся не признать законности силы.

Следовательно нужно победить еще равнодушные толпы, нужно еще возбудить ее смысл.

Вновь обращаюсь к тебе, добродушное, ласковое теля! и вновь повторяю: нужно победить равнодушные толпы, нужно возбудить ее смысл!

Мало того, что ты по образу мыслей считаешь в праве называть себя адвокатом толпы: нужно еще, чтоб толпа сама признала тебя за своего адвоката, а чтоб достигнуть этого, необходимо подладиться к ней, необходимо самому стать толпою, принять ее инстинкты, прожить ее жизнью. Вот если б ты, увидев дантиста, налетающим на преследуемого субъекта, сам налетел на него орлом, толпа действительно признала бы тебя за адвоката своего, и вопила во сто крат [шибче] ходчее и веселее: «хорошень его! накладывай, накладывай ему!» И ты внезапно вырос бы в глазах толпы, стал бы ее героем... чем-то вроде Гарибальди, переложеного на русские нравы.

А ты еще лучший из лучших, ты избраннейший из избранных! Кому же протянешь ты руку, к кому обратишь жаждущую сочувствия мысль? [Ты одинок, ты разобщен от внешнего мира всею чистотою твоих помыслов] Да; тяжела должна быть для тебя жизнь. Жизнь не состав-

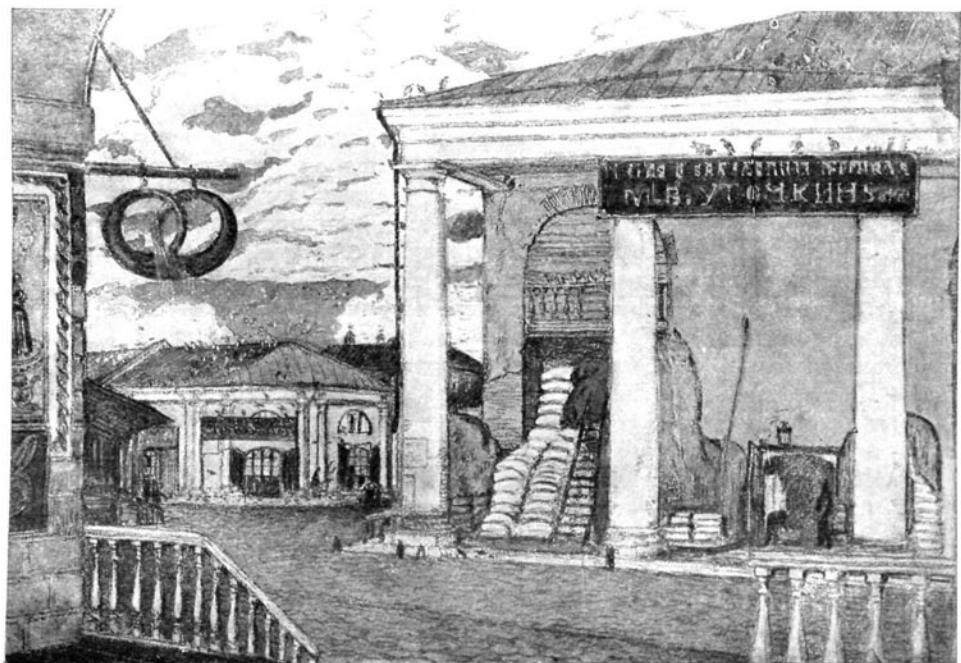
ляет ига только под одним условием: а именно, когда работу ее сопровождает успех. Успех не только дает силу и бодрость мысли, но и оплодотворяет ее, помогает ей итти вперед и развиваться. Без помощи успеха мысль незаметно оскопляется, дичает и делается ничтожною. Для тебя этот успех невозможен, потому что ты слишком разобщен от [внешнего мира] толпы, потому что ты не понимаешь ни законности ее прихотей, ни законности ее невежества, ни законности ее злодеяний. Такое отношение к жизни делает для тебя возможною одну только роль: роль той мясной жертвы, которой дым так приятно щекочет обоняние Ваала.

И я нисколько не удивлюсь, если ты, взвесив всю безотрадность пути, предстоящего тебе в будущем, закроешь лицо руками и содрогнешься; я не удивлюсь даже, если ты проникнешься робостью и сделаешь попытку побегать с поля сражения. Но ты не побежишь, потому что и над твоим существованием тяготеет роковая сила, заранее начертанная путь, по которому тебе предстоит итти; ты не побежишь, потому что над тобою тяготеет твое прошедшее, тяготеет масса выработанных тобой и глубоко пустивших корни убеждений... ты согласишься лучше принять прудью неотразимый удар судьбы, нежели обесславить постыдным бегством те верования, которым ты служишь. Жертвоприношение совершится, и жертва будет приятна Ваалу.

Повторяю: ты лучший из лучших, избраннейший из избранных — и вот однако ж, какого рода результатов можешь ты ждать от твоей деятельности. Что из того, что ты просто и бестрепетно [встретишь] примешь смерть от руки жрецов вааловых, что ты не опозоришь себя при этом ни жалким [ренегатством] отступничеством, ни гнусным предательством? Пойми, что, несмотря на твою героическую бестрепетность, роль твоя все-таки будет чисто страдательною, что симпатии толпы все-таки останутся на стороне силы, и что в пользах твоего дела было бы гораздо лучше, если б ты где-нибудь в уголку, где-нибудь втихомолку [протянул руку на примирение] испросил на коленках прощения и получил за это возможность исподволь, но неотразимо напакастить твоим врагам!

Увы! я знал многих из твоих собратий, людей с честным сердцем и непосрамленною душою, которых протесты против торжествующей злобы дня именно ограничиваются только агнчею способностью примиряться со всеми унижениями и оскорблениями. Их втопчут в грязь — они ничего: и в грязи, говорят, живем — что, взяли? Им свяжут руки, их бросят в жертву смрада и мерзости, на них плюют — они оботрутса и опять ничего: нас-дескать этим не [изумишь] [удивишь] оскорбишь — что, взяли? И в наивности душ своих мечтают, что злоба дня очень оскорблена такою их стойкостью! А злоба дня проходит мимо и нагло хохочет над этим бессильным кривлянием, и плюет, и плюет, и плюет, при неистовых рукоплесканиях полудикой толпы! А сколько есть таких, которые, еще не заглянув в храм, уже бегут от порога его, сколько есть слабых духом, робких сердцем, сколько таких, которые даже временно не могут примириться с идеею аскетизма в жизни! Ужели они сомкнут ряды свои, чтоб твердо стать за торжество мысли, которой не знают и которой не могут сочувствовать их внутренности, ужели не охватит их панический страх и не побегут и не рассыплются они при первом суровом натиске действительности? Всякое сомнение в этом случае было бы только праздным и вредным самообольщением. Неестественно, чтобы общество представляло собой сплошную массу героев-аскетов, подчинивших исключительно торжеству мысли все прочие интересы жизни. Правда, что общество принимает иногда такие суровые формы, но это бывает лишь в те редкие и крайние минуты, когда потребность обновления захватывает дыхание все-

го живущего, когда человечество, идя извилистыми путями одряхлевшей цивилизации, внезапно видит себя в глухом переулке, откуда имеется один только выход — на стену. Такие минуты называются эрами в истории человечества, а много ли можно назвать таких эр? Да притом минута всегда остается минутою; дело созревшей мысли совершилось, стена опрокинута, торжество отпраздновано с приличною случаю помпою: на завтра наступают будни с кропотливою, ненарядною своею деятельностью, на завтра вступает в права свои жизнь, маленькая жизнь с маленькими интересами, и вновь на развалинах отжившей мысли зреет злоба дня, и вновь, рядом с нею, но непризнаваемое и гонимое, зачинается семя [будущего] грядущего... Все это весьма естественно, и даже не потому чтобы над судьбами человечества исключительно царило начало зла, а просто потому, что, по молодости лет и слабости рассудка, оно еще не может определить тех форм добра, которых с таким напряженным усилием ищет. Естественно, следовательно, и то, что в обществе, даже между людьми наиболее симпатичными, скорее можно встретить таких, которые предпочитают жить в мире с действительностью, нежели открыто идти в разлад с нею, которые охотно согласятся пожурить и даже по временам и ушипнуть действительность, но без скандалу, *mon cher*, без скандалу. Ибо согласие с действительностью представляет свои бесконечные удобства, ибо согласие с действительностью вносит за собой мир и благоговение в сердца человеков. *Mon cher!* мне очень приятно видеть вас, человека с широкими, непреклонными убеждениями; я вам сочувствую, и не только с удовольствием, но даже с учащенным биением сердца прислушиваюсь к речам, горячим потоком льющим из уст ваших, — но оставьте меня наслаждаться этим сладким биением сердца в спокойствии. не тормозите, не огорчайте меня, не отрывайте меня от



СТАРАЯ РЯЗАНЬ

В 1859 г. Салтыков служил в Рязани вице-губернатором

Акварель Г. Лукомского

Собрание художника, Париж

раковины, в которой я с таким комфортом обмял себе место! Слушая вас, я воображаю себя в театре, я вижу мысленно процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы — все это очень хорошо, все это раздражает мои нервы и раздражает, могу сказать, в самом благородном смысле, но не могу же я... но не могу же я... согласитесь, что ведь я не могу?

И волею или неволею, с болью в сердце и, быть может, с проклятием на устах, но ты должен будешь согласиться, ласковое, добродушное теля, что я действительно не могу, и не могу не потому, чтоб я был нравственно растлен [и малодушен], а потому что я имею на жизнь тот естественный законный взгляд, в силу которого она является не суровым, аскетическим подвигом, но наслаждением. Кому же ты подашь руку свою? на ком остановится скорбящая мысль твоя?

[ДВА ОТРЫВКА ИЗ ОЧЕРКА «ХОРОШИЕ ЛЮДИ»]

[Отрывок I]

Но вот, мало по малу, в другом конце образуется иной кружок. В нем не слышится разговоров ни о рыбе, ни о «финзервах», но взамен того, до слуха изумленных гостей долетают слова вроде: «вменяемость», «подсудность», «гласное судопроизводство» и проч. Люди, составляющие этот кружок, суть те самые «хорошие» люди, которые служат предметом настоящего исследования.

Завидевши их, люди старинного века умолкают и стараются поскорее пристроиться к карточным столам.

— Интриганты пришли! Ишь их привалило!— говорит Катышкин, уходя во «свои», и затем, в продолжение целого вечера, уже ничего не произносит, кроме «пас», «семь без козырей», [«без двух»] или «Петр Иваныч опять таки подсидел»...

Между тем, хорошие люди, засевши в противоположном углу, продолжают вести разумную беседу об устности, гласности и бескорыстии. Они держат себя гордо, выступают плавно и не давая притом никому дороги, а в отношении к хорошим людям старого покроя выказывают отменную строгость, и только в редких случаях, а именно, когда у кого-нибудь из них уж слишком забавная наружность, т. е. или нос вавилонами, или на руке, вместо пяти, шесть пальцев, позволяют себе относиться к нему с благодушием, напоминающим материнскую снисходительность.

— У меня сегодня по палате крайне неприятный случай был!—воскликает некоторый молодой и совершенно поджарый председатель:— один из моих чиновников дозволил себе нарушение канцелярской тайны!

— Тсс... сколько ведь раз их за это учили — и все как с гуся вода! что ж вы сделали?

— Ну, разумеется, вон его!

— Конечно, это наш долг—очищать воздух!

— Однако, господа,—вступается прокурор, который весь погружен в свое звание истолкователя сомнений:— однако, не будет ли это противно «гласности»?

— Гм... да,—переглядываются присутствующие.

— Позвольте, господа!—воскликает тот же председатель:—по моему мнению, гласность сама по себе, а исполнение долга само по себе! Эти две вещи смешивать нельзя!

— Н-да, нельзя!—поддакивает товарищ председателя Курилкин.

— Я тоже согласен с мнением Ивана Тимофенча,—вмешивается другой председатель:—я с своей стороны полагаю, что гласность есть вещь

хотя желательная, но существующая еще лишь в большем или меньшем отдалении, тогда как исполнение долга есть вещь действительная, нетерпящая ни рассуждений, ни отлагательства.

— Итак, Иван Тимофеевич поступил весьма здраво, отсеки тнилой член от административного тела,—заключает вице-губернатор.

— Это ясно, как день.

— Да... теперь и я вижу, что так,—уныло бормочет прокурор, которого угрызает совесть за то, что, не далее как третьего дня, у него в канцелярии случился подобный же пример недержания канцелярской тайны, и он, во имя «гласности», не только не растерзал дерзновенного чиновника на части, но даже посулил ему дать прочесть статью об этом предмете, напечатанную в «Русском Вестнике».

— Конечно, если мы, люди новые, не будем очищать воздух и отсекал гнилые члены, то на ком же будут покоиться надежды России? Уж не на этой ли архивной рже?—справедливо заключает вице-губернатор, указывая на заседающих за карточными столами.

И разговор продолжается все в том же тоне и духе, переходя от нарушения канцелярской тайны к вопросу о том, может ли чиновник, получающий целковый в месяц жалованья, прилично содержать себя (ответ: хотя и не роскошно, но может), от этого вопроса к рассуждениям о пользе ревизионного стола, при чем вице-губернатор представляет глубочайшие соображения относительно посылки нарочных на счет нерадивых чиновников.

В это время, за одним из карточных столов, внезапно раздается энергический [хотя и добродушный] протест:

— Нет, нет, нет! это, брат, шутишь!—воскликает помещик Птицын:—играть я с тобой сколько угодно буду, а уж сдавать карты не позволяю... ни-ни, и не думай!

Кто же они, эти зараженные новыми идеями люди? кто эти робеспьеры формалистики? эти террористы начальстволюбия? эти сорванцы исполнительности?

Выше было сказано, что нынешние хорошие люди суть те же самые убогие мыслью, нечистые сердцем субъекты, которыми и встарину изобиловала Русь, и которых точно так же, как и нынче, величали людьми хорошими. И действительно, если формы древнего сосуда несколько очистились, то из этого отнюдь не следует, чтобы содержанием для них служило что-либо новое, а не прежнее промозглое и мутное вино. Изменение форм в этом случае есть следствие единственно нашей предприимчивости, а не внутренних потребностей духа. Относительно этих последних, все обстоит, как и прежде. Попрежнему мы оказываемся бедными инициативною, шатким и зависимыми в убеждениях; попрежнему гибко и не дерзновенно пригибаемся то в ту, то в другую сторону, следуя направлению [сердитых] ледовитых ветров, иссушающих нашу родную равнину из одного края в другой. Попрежнему, лишенные всякой дельной подготовки, мы отнюдь, однако ж, не сомневаемся, что можем управлять судьбами, если не целого мира (для этого высшее начальство есть), то, по крайней мере, одного из его захолустьев; попрежнему, мы наивно открываем рты при всяком вопросе, выработанном жизнью; попрежнему, не можем предложить никакого разрешения, кроме тупого и бесплодного гнета, не можем дать никакого совета, не справившись наперед в много-томном и, к сожалению, еще не съеденном мышами архиве канцелярской рутинной мудрости. Скажу больше: изменение форм не только не принесло пользы, но положительно послужило во вред делу. В прежние времена наша необузданность, по крайней мере, смягчалась нравственною

распущенностью, подкупностью и другими качествами, гнусность, которых хотя и не подлежит сомнению, но которые...

[Отрывок II]

— Тем более, что «Морской сборник», вместе с поступанием вперед, соединяет и замечательную ясность души, которая еще действительно должна помогать ему в деле приискания ясных форм.

Хороший человек умоляет и смотрит на жену с тою ласковостью, под которою скромно теплится тихое сознание о собственном его превосходстве над нею.

— Женщина эта—мое создание! если б не я, сделалась ли бы она когда-нибудь «хорошею» женщиной!—думает он и прибавляет вслух:—ты ничего не имеешь сказать больше, дружок?

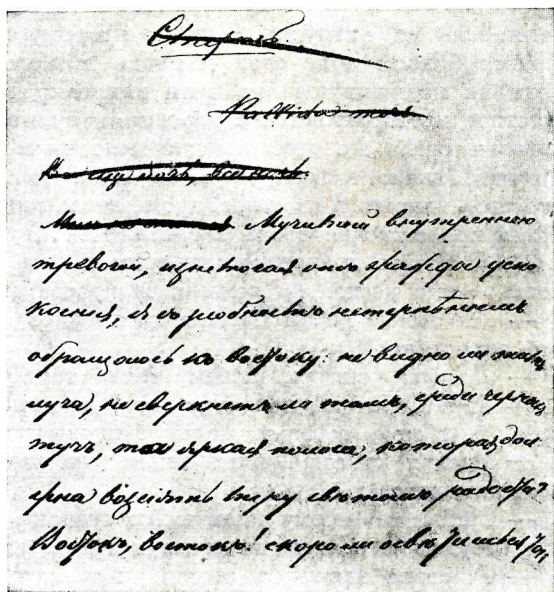
— Ах, душенька! Фомка-кучер опять вчера пьян напился! Я к тебе с вопросом: не прикажешь ли отправить его в часть?

— Гм... да... в часть...

Хороший человек в [затруднении] смущении, потому что вопрос действительно чрезвычайно щекотлив. Конечно, до октября 1858 года, хороший человек не встретил бы затруднения в разрешении его. В то блаженное время он был еще убежден, что всякий человек (т. е. тот вид человека, который в просторечии именуется Ванькой), не исполнивший своего ванькинского долга, а именно: не вычистивший барские сапоги, разбивший бутылку с квасом и т. д., обязан отвечать за это по закону, а следовательно и кучер Фомка мог быть, в силу тогдашних убеждений, подвергнут за свою продерзость ответственности по закону. Но в упомянутом выше и достославном в летописях русской криминалистики октябре 1858 года некто кн. Черкасский взял на себя труд доказать, что если бы кто-либо из Ванек и действительно оказал нерадение в чищении барских сапог, то из этого вовсе не явствует, чтобы следовало снимать с него кожу, каковую слишком строгую меру можно и даже должно (но и то лишь в видах смягчения слишком большой резкости в переходе от сдирания кожи к совершенному ее несдиранию) ибо внезапное лишение человека его привычек, комфорта, может даже возбудить в нем ропот, и впредь (до тех пор, когда в Ванькиных сердцах утвердятся правила истинной нравственности) заменить увещанием посредством так называемых детских розог. Это изобретение, равносильное изобретению компаса (ибо оно должно послужить нам путеводною звездой в плаваньи по многоволнистому океану крепостного права, указывая на синеющий в туманной дали мыс Добрый Надежды), крайне смутило хорошего человека. Конечно, он и прежде постоянно отличался либерализмом и гуманностью своих юридических стремлений, в доказательство чего мог кому угодно показать начатую им статью, под названием: «об отмене кнута с точки зрения правомерности наказания», в которой [положительно] осязательным образом намеревался доказать, что с тех пор, как высшее начальство признало возможным изгнать кнут из нашего уголовного кодекса, идея правомерности наказания не потерпела никакого ущерба, но так далеко он еще не заходил. И под влиянием горьких сомнений и внутренней борьбы, уже собирався он написать статью под названием: «вопросные пункты кн. Черкасскому», в которой этот знаменитый публицист допрашивался, между прочим, о следующем: а) кто должен быть признан судьей в определении детскости или недетскости розог, т. е. отдать ли это определение на суд «сведущих людей», или предоставить установленной полицейской власти? б) если предоставить полиции, то не следует ли при этом

СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА «СКРЕЖЕТА ЗУБОВОГО»: ВЫЧЕРКНУТО ЗАГЛАВИЕ И ЭПИГРАФ ПРЕДПОЛАГАВШЕГОСЯ ОТДЕЛЬНОГО ОЧЕРКА «СМЕРТЬ»

Институт Русской Литературы,
Ленинград



принять в соображение физические свойства полицейских служителей, положительно противоречащие представлению о детскости, и какие принять меры к устранению случаев превышения власти и т. д., как вдруг «Русский Вестник» разразился громовою статьею, в которой с прискорбием протестовал против употребления розог в русской литературе. Хороший человек смутился, однако не поверить «Русскому Вестнику» не посмел. Но не смутился кн. Черкасский и вновь доказал весьма осязательно, что, конечно, розги сами по себе дрянь, но временем они необходимы, как уступка общественному мнению, и сверх того тем еще хороши, что составляют как бы знамя, вокруг которого примиряются и соединяются люди самых противоположных убеждений. И завязалась тут в нашей литературе «брань да история», результатом которой было то, что хороший человек окончательно очутился между небом и землею.

— Гм... в часть...— повторяет он задумчиво:— я, дружок, покаместь еще не могу на это решиться...

— Отчего же, друг мой? он вполне этого заслужил!

Однако, в ответ на это хороший человек не отвечает ни да, ни нет, а только бормочет про себя что-то, похожее на «гласность», и глубоко при этом вздыхает, вероятно, вспоминая о том блаженном времени, когда «Московские Ведомости» еще не открывали у себя особого отдела обывательской литературы. Таким образом семейная конференция и кончается, потому что хорошему человеку уже время на службу.

Подъезжая к присутственным местам, хороший человек не без удовольствия усматривает, что навстречу ему уже вылетел вахмистр в трехугольной шляпе и с булавою в руках. Эта предупредительность обещает ему еще более острое [удовольствие] наслаждение впереди, а именно удовольствие видеть всполошившихся, по случаю его прибытия, канцелярских чиновников, стоящих по местам [скромно] чинно и вкопанно, не неистовствующих руками и не болтающих бесполезно ногами. В присутствии хороший человек рассуждает о распространяющемся всюду бескорыстии, о том, что подлецов следует в бараний рог гнуть, и хотя не читает подаваемых ему журналов и бумаг, но, подписывая их, всякий раз предостерегает секретаря: «вы у меня смотрите, чего-нибудь «этакого» не подсуну-

те! я ведь не затруднюсь и по второму пункту хватить!» Исполнив таким образом долг свой и вновь мимоходом взглянув омерзительным оком на поднявшуюся на ноги канцелярскую сволочь, он оставляет присутствие и отправляется с утренними визитами к прочим хорошим людям, которые столь же своевременно исполнили долг свой и уже отдыхают по домам. Однако, к трем часам он дома, и с удовольствием [видит.— Б. Э.], что стол накрыт, и на столе, кроме воды, никаких других напитков не имеется. В продолжение обеда завязывается поучительный разговор.

— А трезвость продолжает-таки делать успехи!—говорит хороший человек:—еще несколько усилий, и победа за нами!

— Ах, мой друг! в Самаре какой циркуляр насчет этого вышел — просто очарование!

— Да, уж конечно, нашему генералу такого не написать!

— А в Саратове, напротив того, дикости какие-то делаются! Представь себе, друг мой, трезвых людей бунтовщиками называют!

— Всякая сильная идея имеет сначала своих мучеников! — вздыхает хороший человек.

— Нет, а по моему мнению, со стороны саратовского генерала это просто отсутствие всякого понятия о гражданской доблести!

— А разве всякий в состоянии вместить в себе это понятие?—уныло вопрошает хороший человек.

— Конечно; но меня больше всего удивляет, что прокурор не протестовал против такого варварства! кажется, нынче прокуроры все вообще хорошие люди!

— А почему ты знаешь, что он не протестовал? Быть может, он в тиши своего кабинета не только протестовал, но и чувствовал при этом нестерпимую горечь?

— Бедненькой!

— Да; только бог один может видеть, какие [страшные] мучительные минуты переживает иногда сердце прокурора! Донести хочется, а между тем боишься, что донесение не будет уважено!

Наступает несколько минут молчания, которыми хороший человек пользуется, чтобы высморкаться.

— А ты, Сеничка, будешь защищать трезвость?—говорит хороший человек, обращаясь к старшему сынишке.

— Я, папаса, всех пьяниц в полицию посадить велю!—бойко отвечает Сеничка, махая руками.

— А я, папаса, их без пирожного оставлю!—пищит Машечка, болтая под столом ножками.

— Мы, папаса, откупсика иззарить велим и отдадим собаке Валетке!—кричат взапуски Сашечка, Ванечка и Нюточка.

— Умница, душенька! всегда оставайтесь при этих убеждениях, друзья мои!—говорит хороший человек, расstroганный до слез, и с торжеством прибавляет:—да, есть надежда, что, несмотря на происки и попустительство саратовских властей, трезвость не умрет!

В таких разговорах быстро летит время и обед незаметно приближается к концу. После обеда, облекшись, вместо халата, в форменный пальто, хороший человек делает кратковременный кейф, при чем объясняет детям значение слова «взятка» и убеждает их ополчиться, подобно ему, на искоренение этой язвы. Затем, приняв во внимание, что человеку рабочему нужен отдых, он отправляется в спальную и спит сном невинных вплоть до восьми часов.